

ФИЛОСОФИЯ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ

Ричард Рорти

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ТРАНСФОРМАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ*

Большинство аналитических философов не склонны понимать свою дисциплину как гуманитарную. Они считают ее точным исследованием объективного знания и по этой причине скорее схожей с естественными науками. Гуманитарные же науки они рассматривают как арену столкновения неоспариваемых мнений. Философы такого типа предпочитают располагаться – для целей исключительно административных – как можно дальше от профессоров литературы и как можно ближе к профессорам физики.

Вот почему в штатных расписаниях американских университетов факультеты философии иногда находятся в графе социальных, а не гуманитарных наук. По этой же самой причине задетые за живое неаналитические философы иногда пытаются сплотиться под знаменами «гуманистической философии». Пока аналитики и неаналитики треплют друг другу нервы, администрация пытается решить эту проблему, разделяя факультет на два отделения, создавая одно для «физиков»-аналитиков, а другое – для «лириков»-неаналитиков.

Антагонизм между аналитической и неаналитической философией надоел всем, непосредственно вовлеченным в него. Но упоминания об этом расколе очень озадачивают нефилософов. Они понятия не имеют, из-за чего вся эта суеда. Им совершенно неясно, в чем, собственно, отличие аналитической философии от других направлений, каким проблемам аналитические философы посвящают свое время в дискуссиях и почему американские философские факультеты согласны на то, чтобы деятелей, подобных Гегелю, Хайдеггеру, Деррида и Фуко изучали в университете где угодно, но только не на самом философском факультете (например, оставляя это право преподавателям политологии, или профессорам сравнительной литературы, или специалистам по интеллектуальной истории).

Большая часть этого доклада будет посвящена истории и социологии аналитической философии в американской академической системе. Эти данные станут основой для моего заявления о полном провале аналитических

* «Философский журнал» публикует перевод данного малоизвестного текста Ричарда Рорти в продолжение дискуссии о многообразии подходов к пониманию аналитической философии, открытой на страницах нашего издания в прошлых выпусках. Печатается с любезного разрешения вдовы философа, Мэри Варни Рорти.

Переводчик и редакция выражают благодарность заведующему сектором современной западной философии Института философии РАН И.Д. Джохадзе за помощь в научном редактировании перевода.

философов в том, что они надеялись достичь более всего – поставить философию на безопасный путь науки. Но в заключение я скажу, что аналитические философы, которые больше всего сделали для того, чтобы подорвать основы научных претензий относительно этого направления, – внесли непреодолимый и очень ценный вклад в философию. Мораль моего доклада состоит в том, что и провал аналитической философии, и история ее самокритики дают дополнительные основания, чтобы оставить раз и навсегда саму идею, что философия может быть превращена в какую-либо форму науки. И то, и другое помогает нам перейти от предположения, что философия должна добавлять кирпичики к общему зданию научного знания, к мысли, что философия есть, как сказал Гегель, эпоха, схваченная в понятии.

Часто говорят о «кризисе» на гуманитарных факультетах американских университетов. Но люди, которые говорят об этом, обычно имеют в виду чрезмерную политкорректность, которая все еще иногда встречается на американских факультетах литературы. На философских же факультетах последний кризисный период закончился в 1940–1950-х гг., как раз тогда, когда произошел захват этих факультетов аналитической философией. С тех пор драматических изменений более не происходило, за исключением внезапного появления в 70-х гг. философии феминизма как новой области специализации. Несмотря на то, что последствия радикализма 60-х гг. оказали глубокое влияние на некоторые дисциплинарные матрицы на других факультетах университета, американская философия осталась преимущественно незатронутой. Многие аналитические философы были политически активны, но эта деятельность, как правило, не приводила к изменению ни их профессионального имиджа, ни их круга чтения.

Аналитическая философия может быть грубо определена как попытка одновременно осуществить замену обсуждения опыта на обсуждение языка – то, что Густав Бергман назвал «лингвистическим поворотом» – и сделать философскую дисциплину профессиональнее, превращая ее в намного более научную. Лингвистический поворот охватывает всю философию XX в. – мы это видим как у Хайдеггера, Гадамера, Хабермаса и Деррида, так и у Карнапа, Айера, Остина и Витгенштейна. Что отличает аналитическую философию от других философских начинаний – это идея о том, что такой поворот, вместе с использованием символической логики, сделает возможным или, по крайней мере, более простым превращение философии в научную дисциплину, надежда, что философы посредством настойчивого совместного исследования смогут добавлять кирпичики к общему зданию научного знания. И, таким образом, больше не будет философских школ, а только философские специализации.

До лингвистического поворота Эдмунд Гуссерль предпринял схожую попытку. Его призывы к научности и совместной работе во многом созвучны с увещаниями Карнапа и Рейхенбаха, высказанными несколькими десятилетиями позднее. Но в «Бытии и времени» Хайдеггер сумел облечь идеи Кьеркегора и Ницше в одежды профессионального жаргона, благодаря чему они предстали как уважаемые философские учения, а не просто как форма литературного тщеславия. Придавая содержанию философии Кьеркегора и Ницше квазикантианское научное звучание, Хайдеггер показал философам, как можно сделать то, чем они занимаются, значительно более привлекательным для интеллектуалов-книжечеев, в то время как Гуссерль или Карнап полагали, что философы вовсе не обязаны кому-то нравиться. Таким образом, он основал традицию, которую аналитические философы назвали «континентальной философией», – традиция, которая в США изучается на многих гуманитарных факультетах, но обычно не на философских.

Карнап и Гуссерль считали, что Платон был прав, когда предпочел математиков поэтам. И если попытка Гуссерля была на корню пресечена Хайдеггером, то надежды Карнапа на превращение философии в науку, а также недоверие к Хайдеггеру и ко всякого рода литераторам, воспринимающим Хайдеггера всерьез, остаются живы на американских факультетах философии и по сей день. Именно эти надежды и опасения и объясняют негодование многих американских профессоров философии, когда они узнали о том, что Кембриджский университет собирался предложить Деррида почетную ученую степень.

Между 1945 и 1960 гг., когда аналитическая философия захватила лидирующие позиции на большинстве авторитетных американских философских факультетов, логические эмпиристы, такие как Карнап и Гемпель, эмигрировавшие из Европы, заняли место Дьюи и Уайтхеда в качестве героев новой волны. Эта смена привела к резкому и коренному изменению во всем учебном плане на этих факультетах, а также в самовосприятии докторов философии, их окончивших.

Перед тем, как аналитическая философия захватила лидирующие позиции, изучение философии как в англоязычных, так и прочих странах сосредоточивалось в основном на истории философии. Ожидалось, что любой, кто преподавал философию, должен был уметь рассуждать об относительных достоинствах Платона и Аристотеля, Гоббса и Спинозы, Канта и Гегеля, Ницше и Милля.

Это, конечно, не все, что от вас ожидалось: вам также приходилось принимать участие в журнальных дискуссиях. Но никто в тот период даже не сомневался в том, что философия – одна из гуманитарных наук, поскольку передовое обучение философии ничем не отличалось от передового обучения на факультетах литературы: требовалось читать канонические тексты, развивать взгляды об их относительных достоинствах и пытаться соединить их вместе, получая новые интересные варианты. Вплоть до сороковых годов университетские преподаватели литературы и истории в Соединенных Штатах обычно имели некоторые представления об интересах и взглядах их коллег на философском факультете, и наоборот. Это прекратилось к 1965 г.

Как аспирант философии в 1950–54 гг., я неожиданно оказался между двумя совершенно различными типами преподавателей: первыми, подобно Маккеону и Хартшорну, ожидавшими, что я буду отделять то, что продолжает быть актуальным и важным в концепциях различных великих философов, от того, что утратило свою значимость, и вторыми, подобно Карнапу и Гемпелю, предполагавшими, что я буду знакомиться с текущими журнальными статьями, в частности посвященными попыткам обеспечить то, что тогда называлось «рациональными реконструкциями» различных направлений культуры, – например, обоснованию и проверке научных теорий. Одной из горячих тем, которую мы обсуждали на семинаре по философии науки у Гемпеля, был «парадокс ворона» – факт, что известные исчисления в «логике научного подтверждения» приводят к контринтуитивному выводу: существование не-ворона любого окраса, кроме черного, подтверждает суждение, что все вороны являются черными.

Несколько лет своих профессиональных занятий, а также солидную часть своей немного шизофренической диссертации я посвятил исследованию одной из смежных проблем – проблеме номологичности. Истинное номологическое обобщение: «Все монеты в моем кармане являются серебряными», – не обосновывает контрфактуальное утверждение: «Если бы этот

пенни был в моем кармане, то он был бы серебряным». Истинное же номологическое заключение – «Все вороны черны», с другой стороны, действительно обосновывает контрфактуальное утверждение, что «Если бы эта птица была вороном, то она была бы черной». Но определить, что делает обобщение номологическим, значительно сложнее, чем можно было бы подумать.

Моя диссертация была сравнением трех концепций потенциальности, предложенных Аристотелем, рационалистами XVII в. и карнапово-гемпелевской философией науки. Так я потратил две трети моего диссертационного исследования на чтение комментариев к великим умершим философам и одну треть на чтение современных журнальных статей, предлагающих захватывающие исследования условных предложений в сослагательном наклонении. Моя диссертация оставила меня, если вы простите мне эту неуклюжую метафору, сидящим на мели между убывающей волной и поднимающимся валом. К тому времени, когда я закончил аспирантуру и военную службу, был уже 1958 г. Тогда уже было ясно, что если ты не знаком с аналитической философией, то не можешь рассчитывать на хорошую работу. Производить впечатление многообещающего молодого философа в Принстоне, где я получил работу в 1961, почти на сто процентов означало способность говорить о философии новым языком, быть в курсе всех журнальных новинок и печататься. Если вы рассчитывали получить назначение на это место, чего я и добивался, то было мало шансов оставаться в рамках историцизма.

Это частично было результатом влияния Уилларда Ван Ормана Куайна. Он был лучшим учеником Карнапа, первоклассным специалистом в области аналитической философии и идеальным примером для каждого. Он откровенно презрительно относился к изучению истории философии. В студенческие годы он взял за правило читать как можно меньше классических текстов и рекомендовал делать то же самое и своим студентам в Гарварде. Он считал, что история философии настолько же бесполезна для решения текущих задач в философии, как и история физики – для понимания актуальных проблем в той же области. Куайн был восхищен ответом Карнапа, когда на предложение прочесть вводный курс по философии Платона тот сказал, что не станет учить студентов ничему, кроме истины.

Подобное отношение было широко распространено в Принстоне. Его студенты, исполненные чувства долга, гораздо более рьяно соревновались друг с другом в искусстве аргументации и диалектики, нежели в приобретении знаний, расширявших их кругозор. Мы даже избавили одного из самых способных студентов от требований по изучению иностранного языка на том основании, что было бы несправедливо позволить генетической неспособности усвоения иностранных языков испортить блестящую карьеру этого студента, которую тот действительно смог впоследствии реализовать. И, конечно же, никакого сострадания не было бы проявлено к тому студенту, который бы заявил, что исключительно в силу генетического дефекта он неспособен освоить символическую логику. К концу моего пребывания в Принстоне, приблизительно в 1980 г., философский факультет вообще отменил сдачу экзаменов по иностранному языку для аспирантов. Подобный шаг был немислим еще тридцать лет назад (позже экзамен был все-таки восстановлен).

К 1980 г. различие между студентами, обучавшимися на англоязычных факультетах философии типа гарвардского и принстонского, и теми, кто учился во Франции, Германии, Италии, Испании и в подавляющем большинстве других европейских стран (за исключением Британии и Скандинавии), стало действительно очень существенным. Последние, как правило, неплохо

знали и Гегеля, и Хайдеггера. Эти студенты имели общие представления о некоторых достоинствах истории духа (*Geistesgeschichte*), которую рассказывали эти два философа, а также о том, как вплести ее в не менее значимую историю искусства и литературы, с одной стороны, и историю эволюции социальных и политических институтов, с другой. Некоторые англоязычные студенты тоже читали творения двух этих мыслителей и имели какие-то представления об их идеях, но они скорее были исключением из правила и часто маргинальны. Также и некоторые студенты неанглоязычных стран серьезно интересовались аналитической философией и были готовы последовать совету Куайна игнорировать историю философии. Но они тоже были нетипичны и маргинальны.

Большинство из этих глубоких расхождений сохраняются и по сей день. Существует по-прежнему большое различие между молодыми людьми, стремящимися стать профессорами философии в англоязычных и неанглоязычных частях света. И наиболее значительно различие в понимании того, что значит быть философом, как в отношении собственной идентичности, так и в стремлениях, перенимаемых лучшими студентами. Именно это различие делает маловероятным восстановление связей между аналитической традицией и традицией, в которой студентов все еще продолжают обучать, проводя их через каноническую череду мыслителей от Платона до Ницше.

Для англоязычных философов наибольшее значение имеет именно способность к аргументации, типичная для участников судебных процессов. Самым важным по-прежнему считается обладание тем, что мои принстонские коллеги обыкновенно называли «быстрым мышлением». Для неанглоязычных стран, наоборот, до сих пор важнее всего быть многознающим – много прочесть и иметь представление о том, как облечь различные идеи в какую-либо поучительную историю. Именно поэтому неанглоязычные студенты философии на континенте легко находят общие темы для болтовни со студентами литературы и истории. А у аспирантов американских вузов в этом случае возникают проблемы.

Антиисторизм аналитической философии тем не менее не помешал возобновить в США исследования по истории философии. Сейчас в этой области гораздо больше первоклассных исследований, чем это было двадцать лет назад, но обычно в них избегают понимания ее как истории духа (*Geistesgeschichte*). Такие работы в большей степени ориентируются на какую-то знаковую личность или определенный исторический период и не указывают на какой-то общемировой смысл истории. Это имеет мало общего с исследованиями тех, кто всерьез воспринимает истории Гегеля и Хайдеггера о порядке эволюции философии от Платона до Канта.

Американские исследования в области истории философии тем не менее значительно отдалены от так называемых «центральных сфер» интереса аналитической философии. Эти исследования мало что связывает с аналитической философией; скорее, они продолжают ту линию истории философии, которая существовала до Рассела и Карнапа, мыслителей, идеи которых послужили причиной парадигмального сдвига, кардинальным образом изменившего англоязычную философию.

Историки философии на американских факультетах являются, если так можно выразиться, «аналитическими» только из вежливости. Если в первом потоке аналитического энтузиазма были некоторые неуклюжие попытки превратить Аристотеля в эдакого прото-Рассела или Остина, а из Канта сделать несколько запутавшегося прото-Стросона, то в настоящее время присутству-

ет лишь небольшое различие между комментариями к классическим текстам, написанными профессорами философии, и комментариями, написанными политологами или специалистами по интеллектуальной истории.

Дела обстоят одинаково, что с историей философии, что с моральной или политической философией. Джон Ролз написал бы свою книгу, даже если бы ни Рассела, ни Карнапа никогда не было или не был бы совершен лингвистический поворот. Ролз, или Чарльз Тейлор, или Питер Сингер используют те же методы, что Сиджвик, Милль и Т.Х. Грин – лингвистический поворот никак не повлиял на их исследования. Единственным эффектом от доминирования подхода аналитической философии в этой сфере явилось перемещение истории философии, а также этико-политических философских учений на периферию учебного плана. Поэтому теперь на американских факультетах философии лидирующие позиции занимают так называемые «центральные» специальности – метафизика, эпистемология, философия языка и философия сознания.

Предлагаемое определение основных дисциплин философского знания поощряет студентов думать о занятиях в других областях философии как о легких и никчемных. Трудный «центр» состоит преимущественно из работы, которая не только не имеет ничего общего с тем, что делают профессора литературы или истории, но содержание которой совершенно непонятно тому, кто не является философом по профессии. Статус этой работы как относящейся к «центру» объясняется еще и тем фактом, что эта часть философского знания, как кажется, все еще дает надежду на достижение точных, квазинаучных результатов – на получение знания, а не на выражение точек зрения.

Чтобы дать вам представление о том, к чему серьезно относится основная часть аналитических философов «центра», рассмотрим следующий пример. В 1962 г. Эдмунд Геттиер указал на недостаток в традиционном определении знания как обоснованного истинного убеждения, которое впервые было дано Платоном. Геттиер отметил, что можно иметь обоснованное истинное убеждение, которое тем не менее нельзя считать знанием просто потому, что оно было вызвано неверным способом – посредством irrelevantных событий. Например, если я считаю, что у кого-то из моих коллег на факультете есть BMW, и мне кажется, что это Джонс, ведь он говорил мне в прошлом месяце, что он приобрел автомобиль этой марки, тогда я могу иметь обоснованное истинное убеждение. Предположим, что Джонс продал свой BMW вчера, но мое убеждение истинно лишь потому, что машину Джонса купил Смит, другой мой коллега с этого же факультета. Так как мое обоснованное убеждение было вызвано, если так можно выразиться, неверным допущением, то я не знаю, имеет ли кто-то из моих коллег BMW, даже в том случае, если один из них действительно является владельцем этой марки и даже если мое убеждение в этом обосновано.

Наблюдение Геттиера дало начало тому, что теперь называют «каузальные теории знания». Такие теории стремятся определить, какая причинная связь существует между знаниями и познаваемыми эмпирическими объектами. Те, кто интересуется этими теориями, все еще продолжают обсуждать, существуют ли такие связи как в случае математического, так и в случае этического знания. Подобные вопросы связаны с каузальными теориями референции, создание которых было навеяно работами Крипке. Согласно им то, о чем мы говорим, определено не тем, *что* мы говорим, а скорее причинной связью между используемыми нами конкретными словами и вещами, для обозначения которых эти слова изначально использовались.

Среди аналитических философов идут горячие споры относительно ценности таких теорий: нуждаемся ли мы в теории познания или в теории референции, обладает ли открытие Геттиера какой-либо философской ценностью, могут ли каузальные теории быть как-то применены и если да, то для чего. Но от студента, изучающего аналитическую философию, требуется иметь представление обо всем этом только для того, чтобы наверняка сдать квалификационный экзамен на степень доктора философии по «эпистемологии и метафизике». Вы больше преуспеете в профессиональной философии, если предложите новый оригинальный аргумент в дискуссии по одной из выше-названных тем, чем если опубликуете полноценную историю европейской этической философии от Монтеня до Канта.

Такая история была опубликована несколько лет назад Джеромом Шнивиндом, который преподает философию в Хопкинсе. 50 лет назад, когда Лавджой, Йегер, Корнфорд, Жильсон, Вольфсон и Кемп Смит все еще были влиятельными учеными, такая объемная, солидная и оригинальная работа, как «Изобретение автономии», была бы объявлена одним из важнейших вкладов Америки в философию за последнее время. Сегодня, однако, это произведение найдет, вероятно, гораздо больше читателей за пределами философских факультетов, чем на них самих. Большинство американских преподавателей философии останутся в полном неведении относительно ее существования.

Опять-таки главная причина подобной расстановки приоритетов заключается в том, что аналитическим философам хотелось бы более всего на свете чувствовать, что они добавляют свои кирпичики к общему зданию научного знания. Конечно, аналитические философы относятся к историкам с меньшим подозрением, чем, например, к литературным критикам. Поскольку они признают, что историки, ограничивающие себя лишь теми событиями, которые реально имели место, предлагают знание, а не простое мнение. Но поскольку такие историки философии, как Лавджой и Шнивинд, гораздо больше пекутся о тенденциях, чем о событиях, реально произошедших, то они часто приравниваются к торговцам мнениями. Считается, что они похожи на литературных критиков больше, чем это позволительно «настоящим» философам, философам-профессионалам.

Объяснением этому служит тот факт, что повествование о тенденциях истории является, по сути, приглашением для следующего поколения специалистов по интеллектуальной истории предложить другое, конкурирующее, объяснение тех же самых тенденций, точно так же, как установление литературного канона предлагает следующему поколению критиков пересмотреть его. В отличие от этого, объяснение какого-либо макроструктурного физического феномена через детальное описание организации микроструктур, как правило, отнюдь не предлагает следующему поколению предложить альтернативное объяснение этого феномена. Часто признают, что уже и первое объяснение добавило кирпичик к зданию научного знания, делая ненужным какие-либо последующие действия. Такое ощущение смысловой точности и завершенности – вот к чему стремятся аналитические философы. И это то, что, со всей очевидностью, недостижимо для книг Шнивинда и ему подобных.

Контраст между аналитической и неаналитической философией приблизительно аналогичен контрасту между естественнонаучной и литературной культурами (Ч.П. Сноу) – твердым и мягким, физиками и лириками – контраст, упомянутый мною выше. Большинство людей, которые занимаются тем, что аналитические философы называют «континентальной философи-

ей», порой настойчиво стремятся размыть границы между философией, интеллектуальной историей, литературой, литературной критикой и критикой культуры. Они в общем безразличны к результатам так называемых точных наук. Они считают существенной каждую причину, по которой профессора философии должны читать «Нью-Йоркское книжное обозрение», и не понимают, зачем им подписываться на журнал «В мире науки».

Типичный читатель Хайдеггера и Деррида рассматривает точные науки скорее в качестве служанок технологического прогресса, а не как возможность увидеть реальность в ее истинном свете. Такой читатель согласится с Кьеркегором и Ницше, что Платон и Аристотель ошибались, считая, что познание объективной истины является самым достойным и наиболее явно человеческим занятием, на которое мы только способны. Большинство таких читателей согласится с Ницше в том, что главным упущением греческих философов было то, что они предпочитали математику и науку занятиям искусством и литературой, в то время как на науку нужно смотреть сквозь призму искусства и жизни. Платон представлял себе образование сконцентрировавшимся вокруг науки, тогда как Ницше говорил о культуре, сформированной искусством, о культуре, в которой мы признаем, что именно поэты определяют наши конечные цели, а ученые лишь обеспечивают нас средствами к их достижению.

Такой ход мысли прекрасно резюмируется настойчивой идеей Кьеркегора о том, что все, что мы называем «объективным знанием», представлено ли оно математическими теоремами, физическими фактами или реальностью исторических событий – все это лишь «случайное» знание. Кирпичики, которые создают здание человеческого знания, оказываются непригодными для достижения одной, но поистине важной цели. Этой целью является преобразование того, что Кьеркегор называет «экзистирующий индивид». «Все знания, – как пишет Кьеркегор, – которые по своей сути не соотносят себя с существованием, отражая сущность, являются случайными; их уровень и масштаб не имеют значения... Только этико-религиозное знание имеет сущностное отношение к носителю знания».

Примером экзистенциального преобразования для Кьеркегора является обретение нового существа во Христе. Но это, очевидно, не единственный пример обретения того, что Хайдеггер называл подлинным существованием, – жизни, цели которой не являются лишь заимствованными у какой-либо культуры или традиции, но которые являются результатом особенного, отрешающегося, экстатического столкновения с чем-то или с кем-то совершенно иным. Подобного рода столкновение Платон имел с Сократом, Мирандола – с Платоном, Ромео – с Джульеттой, Гитлер – с Вагнером, Куайн – с Карнапом, Гарольд Блум – с Блейком и множество идеалистически настроенных людей – с такими социальными движениями, как марксизм, феминизм, фашизм и борьба за права гомосексуалистов.

Ясно, что не каждый в гуманитарных науках ищет экзистенциальной трансформации и не все являются неаналитическим философами. Но существование феномена экзистенциальной трансформации является столь же значимым для гуманитарных наук, как и явление единства мнений в научной среде между хорошо осведомленными в данной области экспертами. Если бы этого не было, то не было бы и никакой литературной культуры; как не было бы и научной культуры, если бы достижение согласия не являлось бы знакомым и ожидаемым продуктом проведения лабораторных экспериментов.

Это не означает, что главным продуктом гуманитарных факультетов являются книги, которые вызывают экзистенциальную трансформацию. Основным их продуктом скорее является вклад в историю духа (*Geistesgeschichte*): повествования о трансформациях прошлого, особенно те, что объединяют множество последовательных трансформаций в социальном и индивидуальном сознании. Это истории о том, как, например, греки от Гомера пришли к Аристотелю, как литературная критика пришла от Джонсона к Блуму, как немецкое воображение прошло путь от Шиллера к Хабермасу, как протестантизм пришел от Лютера к Тиллиху и феминизм – от Гарриет Тейлор к Кэтрин МакКиннон. Эти повествования рассказывают нам, как человеческие существа сумели изменить свои самые важные представления о самих себе. И все эти истории являются бесконечно спорными и бесконечно пересматриваются в свете последних изменений. Таким образом, сама идея окончательной, итоговой исторической точки зрения на какой-либо из этих переходов столь же глупа, как и идея окончательного, итогового воспитательного романа (*Bildungsroman*).

Такие повествования, переплетаясь одно с другим и с личным неписанным воспитательным романом самого читателя, предлагают ему постичь смысл того, что Гегель называл шествием Мирового Духа. Книги, вплетающие в свое повествование множество подобных историй, добавляя в получившуюся ткань гобелена подходящую к его рисунку соответствующую мораль, выполняют задачу, которую Гегель называл «схватыванием эпохи в мысли». Эта фраза была одним из многих определений, данных Гегелем философии. И это определение, на мой взгляд, наиболее точно выражает то, чему гуманитарные факультеты надеются научить своих студентов. Рассказывая истории о трансформациях, имевших место в прошлом, преподаватели этих факультетов надеются дать более широкие возможности своим студентам для получения подобного опыта, и в некоторых случаях это могло бы способствовать дальнейшему развитию Мирового Духа.

Схватывание эпохи в мысли для гуманитарных наук – то же самое, что решение задач для наук естественных. Одним из главных преимуществ ученого-естественника, пусть даже и второразрядного, является то, что он может решить поставленную задачу, даже незначительную, но раз и навсегда. Крупный ученый – это тот, кто способен решить очень сложную, долгосрочную задачу: например, выяснить причину движения планет по эллипсам, исследовать микроструктуру радиоактивных веществ или расшифровать генетический код. Действительно, великий ученый-естественник способен дать такое решение задачи, которое в корне изменит наше представление о мире. Вот почему Эйнштейна называют иногда «ученым-философом». Его открытие соответствует тому, как определял философию Уилфрид Селларс. По его мнению, философия – это объяснение того, как вещи, в самом широком смысле слова, связаны между собой, опять же, в самом широком смысле слова.

Но и по-настоящему великий философ, такой как Платон или Гегель, может сделать то же самое, что Эйнштейн; как и великий религиозный писатель, подобный Кьеркегору, или великий поэт, подобный Шекспиру. Вещи, которые они соединяют новым способом, различны, но масштаб деяний сопоставим. Для естественных наук предметом исследования являются нечеловеческие объекты (включая элементы человека – такие, как нейроны или гены). В случае же гуманитарных наук объекты исследования относятся к человеку – общественные институты, человеческие жизни, черты характера,

достижения и т. д. Выдающиеся, но не великие историки, литературные критики и философы относятся к Канту или Шекспиру так же, как обычные Нобелевские лауреаты по физике соотносятся с физиками масштаба Эйнштейна. Они не осуществляют переворот, но обеспечивают следующий его виток развития. Пока физики готовят следующий переворот, решая задачи, гуманитарии готовят его, рассказывая истории о том, как предшествующие перевороты связаны или не связаны между собой.

Конт и Маркс, например, пытались схватить эпоху в мысли, плели ткань повествования о прошлом для обоснования их собственных предположений о том, как может быть преодолено жестокое неравенство, пережившее Французскую революцию. То же совершили гуманисты эпохи Ренессанса, когда выдвинули предположения о том, каким может стать христианский мир теперь, когда он стал способен принять мудрость Античности.

Величайшие философы-неаналитики нашего столетия, Дьюи и Хайдеггер, провели много времени, рассказывая истории об упадке и развитии, истории, которые вели их читателей к переосмыслению самих себя и своего окружения. Про идеи двух этих мыслителей, потенциально способные изменить наше представление о самих себе, нельзя сказать, что они обеспечивают нас новым знанием. Но так же неверно считать их всего лишь интеллектуальными попытками влиять на формирование мнений. Те, кто следует за Кьеркегором, отличая экзистенциальное и важное от объективного и относительно незначительного, правы в том, что не принимают всерьез вопросы о согласованности и достоверности. Они правы в том, что не имеют никакого интереса к проблеме различения знания и мнения. Когда люди меняют профессии, супругов, любовников или религии, никто не задается вопросом о достоверной безошибочности сделанного выбора, равно как и вопросом о том, является ли он результатом консенсуса. И нет смысла делать так же, выбирая между оптимистическим повествованием Дьюи о нашем восхождении к социальной демократии и пессимистическим рассказом Хайдеггера о нашем ниспадении в безумие технологического гигантизма.

Для иллюстрации различия между историко-ориентированной философией, у которой взаимодействие с другими гуманитарными науками не вызывает никаких проблем, и тем родом философии, что считает историю чем-то несущественным, позвольте мне обратиться к Шнивинду, чью книгу я упоминал ранее. На семинаре по материалам его книги ошеломленный подходом Шнивинда студент взволнованно спросил: «Но Вы же не станете отрицать, что существует некоторый объем объективно верного морального знания, к познанию которого философы-моралисты асимптотически приближаются?». Когда Шнивинд сказал, что он ни во что подобное не верит, то студент был искренне озадачен: в чем тогда должен состоять смысл написания истории моральной философии? Подобная растерянность, я подозреваю, едва ли могла быть обнаружена у студента американского философского факультета еще 50 лет назад.

Я упомянул эту историю для того, чтобы показать, как глубоко укоренился в культуре аналитической философии идеал поиска вневременной, непересматриваемой истины. Если стремишься к этому идеалу, происходящее на факультетах литературы и истории обречено казаться чем-то, в принципе не относящимся к философии. И наоборот, если вы разделяете взгляды Кьеркегора на то, что знание подобных истин банально, в сравнении с «этико-религиозным» преобразованием (transformation), тогда интереса к аналитической философии у вас останется мало. Поскольку большинство тех, кто интере-

суется философией, согласно с Кьеркегором, аналитизм не пользуется большой популярностью за пределами англоязычных философских факультетов. В англоязычных странах большинство университетских профессоров (не философов) не знают и не заботятся о том, что происходит на факультетах философии. А если уж им приходится об этом задуматься, они отрешиваются от этих факультетов, считая, что их захватили «технари», чьи работы неинтересны неспециалистам.

Со взглядом, предложенным Дэвидом Льюисом, одним из самых уважаемых и вызывающих восхищение современных философов Америки, согласились бы многие аналитические философы. Его способность в построении концептуальных систем и решении задач, а также острый ум полемиста являются предметом зависти коллег. Но он мало интересовался историей философии и тем, знакомы ли с ней его студенты, как это делал и его учитель Карнап. Льюис пишет: «Тот, кто приходит в философию, уже обладает определенным запасом существующих мнений. Не дело философии – опровергать или подтверждать эти мнения в какой-либо степени, ее задача – лишь пытаться открыть способы приведения их в упорядоченную систему. Так, метафизический анализ сознания является попыткой систематизации наших представлений о нем. Таким образом: 1) эта деятельность является систематизирующей, 2) она с уважением относится к нашим предфилософским представлениям, к которым мы так сильно привязаны»¹.

Философы, которые согласны с Льюисом, часто несколько категоричны в отношении тех, кто, подобно Кьеркегору, надеется, что чтение философского текста позволит осуществить внутреннюю трансформацию посредством разрушения или подтверждения их воззрений. Заявление Кьеркегора о том, что только этико-религиозная проблематика на самом деле значима, является полной противоположностью точки зрения Льюиса о назначении философии. Различие между двумя этими мыслителями, как я уже замечал ранее, является, по существу, различием между решением задач и рассказыванием историй и особенно историй об искуплении и грехопадении.

Если кого и можно было бы назвать идеальным решателем задач, то это был бы Льюис. Его решения являются оригинальными и отточенными, и они складываются в действительно красивую систему. Но те, кто считает, что философия должна сосредоточиться скорее на преодолении традиционных философских проблем, нежели на их решении, обычно надеются на то, что это поможет заменить устаревший философский язык на новый, способный к преобразованию, способ высказывания и рассуждения. Такие люди в системе, построенной Льюисом, увидят лишь эстетическую ценность. Философы, которые находят Хайдеггера полезным именно из-за его попытки избавиться от предпосылок, общих для Платона и аналитической философии, скорее всего, и примут эту точку зрения.

Если аналитическая философия намерена сохранить надежду на достижение мечты о превращении философии в науку и о ее полной профессионализации, то в ней должны быть понятия, которые не меняют своего значения при изменении контекста использования, а также интуитивные знания, остающиеся простыми и очевидными независимо от культурных изменений. Существенно важным для этого движения является признание, что историзм имеет свои пределы: как не каждый способ мышления и высказывания предназначен для того, чтобы быть методом познания, так и не каждая философская проблема может быть терапевтически преодолена. Поскольку, если все

¹ Lewis D. Counterfactuals. Oxf., 1973. P. 88.

способы мышления и высказывания являются потенциально взаимозаменяемыми, то аналитики, решатели задач, всегда рискуют оказаться ограниченными, мыслящими лишь в рамках своего времени и устаревшими.

Это основная причина, по которой в современной аналитической философии на холизм, контекстуализм, прагматизм и историцизм смотрят с таким большим подозрением. Ведь чем к большему количеству значений, концепций и интуитивных прозрений история окажется немилостива, тем меньше надежды на то, что философия когда-нибудь достигнет надежного пути научного познания. Историцизм в философии – это главный враг профессионализации. Страх депрофессионализации среди аналитических философов сыграл решающую роль в их выборе основных философских взглядов.

Сам я являюсь убежденным холистом, историцистом, прагматистом и контекстуалистом. Я не думаю, что существуют какие-либо поддающиеся анализу образования, называемые «понятия» и «значения», которые могут или должны являться объектами профессионального интереса аналитических философов. Мое первое желание, когда мне говорят о философской задаче, скорее попытаться преодолеть ее, нежели решить: обычно я подвергаю проверке понятия, в которых сформулирована проблема, и пытаюсь предложить новый набор понятий, в которых она уже не может быть сформулирована.

Такое поведение – возможно, одна из причин, по которой меня часто характеризуют как философа «конца философии». Но я таким не являюсь. Пожалуй, философия не закончится, пока продолжают изменения в культуре, и, как все прочие, я надеюсь, что такие изменения будут продолжаться. В условиях культурных изменений всегда будут находиться люди, стремящиеся связать старое и новое. Платон пытался связать теогонию Гесиода с аксиоматической геометрией, Фома Аквинский – Аристотеля со Священным писанием. Дьюи попытался совместить Гегеля с Дарвином, Аннет Байер попыталась совместить Юма и Гарриет Тейлор с Фрейдом.

По определению как Селларса, так и Гегеля, все они, соответственно, называются философами. И все они пытались все, относящееся к человеку, соединить в одно целое масштабным, всеобъемлющим образом, а также схватить быстро меняющееся время мыслью. Причина, по которой философия всегда хоронит своих могильщиков, заключается не в существовании вневременных трудноразрешимых проблем, вечных загадок, которые выскакивают, как черти из табакерки, в каждую эпоху и в каждой культуре, но просто в том, что времена меняются. Такие изменения всегда затрудняют видение того, как вещи связаны между собой, потому что это заставляет нас описывать новые феномены терминами, которые были созданы для обозначения старых явлений. Полезны те философы, которые придумывают новые понятия и таким образом делают прежние словари устаревшими. Изобретение таких понятий не может быть поставлено в качестве цели в программе научных исследований. Итак, на что я в самом деле надеюсь, так это на то, что попытки поставить философию на безопасный путь науки, наконец, завершатся.

Даже если такие попытки окончатся, тем не менее аналитическая философия не будет рассматриваться специалистами по интеллектуальной истории в качестве пустой траты времени. Напротив, я верю, что они будут рассматривать аналитическую философию в качестве создающей новые аргументы в пользу историцизма и против сциентизма. Не что иное, как самокритика сделала из аналитической философии то, чем она является, – эта ее привычка выбивать у себя почву из-под ног, ставить под

сомнение свои собственные притязания. Восприимчивость к подобного рода самокритике, которую позволили себе такие аналитики, как Кун и Патнэм, дала возможность сформулировать намного более глубокую критику попыток Рассела и Карнапа поставить философию на научную основу, чем любая критика, произведенная извне аналитического движения. Реакцию против логического позитивизма, доминировавшего в аналитической философии все последние 40 лет, не следует рассматривать в качестве бури в стакане англоязычных стран, но как внесшую весомый вклад в мировую философию.

Если историкам необходимо по достоинству оценить масштаб достижений аналитической философии, то им стоило бы постараться проигнорировать своекорыстную риторику аналитической философии, которую она, к сожалению, продолжает использовать. Они спокойно могут пренебречь утверждением, что аналитическая философия демонстрирует необычную и, возможно, беспрецедентную степень ясности и точности. Им следует уделить внимание другому – внутренней диалектике аналитической философии. Благодаря тому, что Гегель назвал «хитростью разума», данная диалектика дала возможность аналитическим философам объяснить более ясно, чем когда-либо, почему ясность и точность культурно обусловлены.

С тех пор как аналитическая философия стала доминирующим направлением, американские аналитические философы за 40 с лишним лет едва ли достигли большего согласия, чем удалось достигнуть неокантианцам в Германии в течение второй половины XIX в. или американским предтечам аналитической философии, обсуждавшим сравнительные преимущества Джеймса, Рассела, Брэдли, Уайтхеда и Бергсона. Попытка Рассела и Карнапа использовать символическую логику для того, чтобы утвердить философию на надежном пути научного познания, потерпела фиаско, как и попытка Гуссерля использовать феноменологическое эпохе для той же самой цели. Аналитические философы столь же быстро разбились на школы, каждая из которых не принимала всерьез другие, как и схоласты XIV в.

Подобного рода схоластики трудно избежать в случае, если профессия несет ответственность лишь сама перед собой. О том, что в действительности является проблемой, например, в юриспруденции, общество в целом имеет некое представление. Но оно не имеет никакого представления о том, что считать проблемой в философии. Вот почему с тех пор, как философия стала профессией во времена Канта, философы тратили, по меньшей мере, половину времени на то, чтобы объяснить, почему проблемы их коллег не являются реальными.

То, что осваивает выпускник факультета аналитической философии, – это не какие-то методы или инструменты познания, но простое знакомство с различными языковыми играми, которые в настоящий момент разыгрываются преподавателями данного факультета. И на эти самые игры могут смотреть с презрением аналитические философы соседнего университета на той же улице. Тем не менее близкое знакомство с такого рода языковыми играми составляет основу посвящения в профессию. В этой связи подготовка кадров высшей квалификации – это точно такой же процесс для учеников Дэвида Льюиса или Дональда Дэвидсона, как и для учеников из противоборствующего лагеря, например, среди последователей Альберта Вельмера или Джанни Ваттимо. Во всех четырех случаях вы получаете то, что подозрительные чужаки называют бессмысленным жаргоном, а убежденные сторонники – незаменимым инструментарием.

Когда я в 1950 г. мечтательно сидел у ног Карнапа, я действительно верил, что в конце XX в. философы по всему миру будут украшать свои статьи кванторами, разговаривая на одинаковом, безусловно точном языке, решая одни и те же головоломки, добавляя кирпичики к единому зданию научного знания. Однако в течение нескольких лет пребывания в Принстоне, наблюдая за доктринальной розой ветров и за тем, как актуальные философские проблемы сменялись одна другой, уносимые прочь этими вихрями, я осознал, что данный сценарий будет едва ли реализован даже в отдельно взятом университете, не говоря уже о международном масштабе. И все же мою растущую убежденность в том, что лучшие аналитические философы много сделали для трансформации человеческого самосознания, не ослабило даже понимание, что мои принстонские коллеги достигли столь же малого единодушия в вопросе о том, когда именно необходимый фрагмент был добавлен в к единому зданию научного знания, как и в вопросе о том, что, собственно, считать важной философской проблемой.

В различных книгах и статьях я пытался рассказать историю о том, как лингвистический поворот в философии позволил преемникам Канта примириться с Дарвином и в то же время обеспечил поддержку анти-репрезентационалистскому направлению в истории мысли, которое оказалось созвучным перспективизму Ницше и прагматизму Дьюи. Это направление, пронизывающее работы позднего Витгенштейна, а также Селларса и Дэвидсона, дало нам возможность по-новому осмыслить отношение между языком и реальностью. Используя подобный способ мышления, можно, наконец, достичь того, к чему тщетно стремились немецкие идеалисты – завершить обсуждение утомительных псевдопроблем, касающихся отношения субъекта и объекта, видимости и реальности.

Я бы сказал, что такие аналитические философы могут помочь нам вернуть философию на гегельянскую, историцистскую, романтическую стезю. Это тот самый путь, с которого хотели сойти неокантианцы в XIX в., феноменологи – последователи Гуссерля и родоначальники аналитической философии. Мораль истории о том, как аналитическая философия попыталась (но безуспешно) избежать этого пути, заключается в предположении, что человеческие индивиды могут, опираясь, с одной стороны, на Витгенштейна, Селларса и Дэвидсона, а с другой, на Хайдеггера, Фуко и Деррида, освободиться от старой идеи, что существует нечто трансцендентное человеку – нечто подобное Божьей Воле, или Внутренней Сущности Реальности, обладающей властью над человеческими убеждениями и поступками. Это история о том, как известные интуиции, унаследованные нами от греков, могут быть скорее отвергнуты и заменены, чем систематизированы. Вне зависимости от того, примут эту историю или не примут, понравится она кому-либо или нет, но эта история о трансформации, которую сам Кьеркегор мог признать имеющей этико-религиозный смысл, даже если этот смысл глубоко атеистичен.

Моя история, говоря кратко, не о том, как избежать аналитической философии, но скорее о том, почему мы нуждаемся в изучении определенных философов-аналитиков для того, чтобы по достоинству оценить трансформативные возможности, которые интеллектуальные движения XX в. открыли для наших потомков. Дисциплинарная матрица аналитической философии, несмотря на пустое звучание ее защитной риторики, – это то, с чем в будущем придется познакомиться специалистами по интеллектуальной истории, подобно тому, как в прошлом им пришлось познакомиться с дисциплинарной матрицей немецкого идеализма.

Немецкий идеализм также произвел много пустой сциентистской риторики, но все-таки пробил дорогу Мировому Духу. Равно как и холистский и контекстуалистский способ мышления, который вел Витгенштейна от «Трактата» к «Философским исследованиям», убедил Куайна высмеивать дихотомию аналитического и синтетического, способствовал тому, чтобы Селларс отбросил идею Локка о доязыковом знании и заставил Дэвидсона отречься от самой идеи «концептуальной схемы».

Я предсказываю, что студентам, которые будут изучать историю философии в XXII в., придется сражаться со специальной терминологией, засоряющей этот способ мышления, точно так же, как современным студентам приходится бороться с формальностями кантовской «Критики чистого разума». Несмотря на вычурную архитектонику и замысловато-причудливый способ решения бессмысленных псевдопроблем, этой работе Канта оказался присущ этико-религиозный трансформативный эффект. Мы понимаем себя иначе потому, что Кант ее написал. Невзирая на свои квазинаучные претензии и бесконечные тупики, в которые загнала себя аналитическая философия XX в., она тоже обладает трансформативными эффектами, и наши потомки будут ей благодарны.

Аналитическая философия не оправдала своих претензий и не решила задач, которые считала поставленными перед собой. Тем не менее аналитическая философия заслужила почетное место в истории философии именно в процессе поиска оснований для того, чтобы отказаться от этих претензий и задач. Именно своим отказом от поиска аподиктичности и окончательности – к которым стремились и Гуссерль, и Карнап, и Рассел, а также вследствие обнаружения новых причин считать, что подобный поиск никогда не увенчается успехом, аналитическая философия расчистила для нас путь, ведущий прочь от сциентизма, так же, как немецкий идеализм прояснил путь, который вел в обход эмпиризма. Антиэмпиристский урок немецкого идеализма потребовал много времени для усвоения, не меньше времени может потребовать и антисциентистский урок аналитической философии. Но однажды, возможно, историкам философии удастся понять, что эти внешне противоположные движения являются дополняющими друг друга.

Ноябрь 10, 1999.

Перевод с английского *А.А. Юрганова*

Юрганов Александр Александрович – кандидат философских наук, ассистент кафедры философии, психологии и педагогики. Кубанский государственный медицинский университет. Российская Федерация, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, 4; e-mail: ssssss1984@mail.ru